



I. ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном я, — первый проблеск сознательной жизни. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла я то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановиться на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления — еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я *действительно* помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них. Что еще хуже — мне никогда не удастся вызвать ни одно из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания.

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни.

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. «Не ушибите ребеночка!» — умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: «Кушайте на здоровье, сударыня», — говорит он ей.

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — трунит надо мной дьячок.

— Скажи, маточка: меня, мол, зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковской! — поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня, и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их по-своему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

— Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк, — говорит он, — когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «висит крюк на воротах Крюковского» — сейчас и вспомните.

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой дьячковский каламбур врезался в моей памяти

и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась. Отец мой служил в артиллерии, и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы.

За эту первую, отчетливо сохранившуюся в моем воспоминании сценой следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков на шоссе, ночлеги на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты, — ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связанные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Аня была лет на шесть меня старше, а брат Федя года на три моложе.

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Аньюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

Наши детские кровати, огороженные решетками, стоят рядом, так что по утрам мы можем перелезть друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой висится целая гора перин и пуховиков. Это — нянина гордость.

Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только мы взберемся на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Стоит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах — смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать нигде этого своеобразного запаха; да я думаю, не только за границей, но и в Петербурге, и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка-француженка не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

— Да отворяйте вы, няня, форточку! — умоляет она няню на ломаном русском языке.

Няня принимает это замечание за личную обиду.

— Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить! — бормочет она по ее уходе.

Стычки няни с гувернанткой повторяются тоже аккуратно, каждое утро.

Солнышко уже давно заглядывает в нашу детскую. Мы, дети, один за другим начинаем открывать глазки, но мы не торопимся вставать и одеваться. Между моментом просыпания и моментом приступа к нашему туалету лежит еще длинный проме-

жуток возни, кидания друг в дружку подушками, хватания друг дружки за голые ноги, лепетание всякого вздора.

В комнате распространяется аппетитный запах кофе; няня, сама еще полуодетая, сменив только ночной чепец на шелковую косынку, неизбежно прикрывающую ей волосы в течение дня, вносит поднос с большим медным кофейником и еще в постельке, неумытых и нечесанных, начинает угощать нас кофе со сливками и со сдобными булочками.

Откушав, случается иногда, что мы, утомленные предварительной возней, опять засыпаем.

Но вот дверь детской отворается с шумом, и на пороге показывается рассерженная гувернантка.

— Comment! vous êtes encore au lit, Annette! Il est onze heures. Vous êtes de nouveau en retard pour votre leçon¹ — восклицает она гневно.

— Так невозможно долго спать! Я будут жаловаться генералу! — обращается она к няне.

— Ну и ступай, жалуйся, змея! — бормочет ей вслед няня и, по ее уходе, долго не может успокоиться и все продолжает ворчать:

— Уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну и подождешь — не важная фря!

Однако, несмотря на ворчанье, няня все же считает теперь нужным приняться серьезно за наш туалет, и, надо сознаться, если приготовления к нему тянулись долго, зато сам туалет справляется очень быстро. Вытрет нам няня лицо и руки мокрым полотенцем, проведет раза два гребешком по нашей растрепанной гриве,

¹ Как! вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов. Вы снова опоздали к уроку! (*фр.*)

наденет на нас платьице, в котором нередко не хватает нескольких пуговиц, — вот мы и готовы!

Сестра отправляется на урок к гувернантке, мы же с братом остаемся в детской. Не стесняясь нашим присутствием, няня подметает пол щеткой, подняв целое облако пыли; прикроет наши детские кровати одеяльцами, встряхнет свои собственные пуховики — и затем детская считается прибранною на весь день. Мы с братом сидим на клеенчатом диване, с которого местами содрана клеенка и большими пучками вылезает конский волос, и играем нашими игрушками. Гулять нас водят редко, только в случае исключительно хорошей погоды, да еще в большие праздники, когда няня отправляется с нами в церковь.

Кончив урок, сестра тотчас опять прибегает к нам. С гувернанткой ей скучно, а у нас веселее, тем более что к нашей няне часто приходят гости, другие няни или горничные, которых она угощает кофеем и от которых можно услышать много интересного.

Иногда заглянет к нам в детскую мама. Когда я вспоминаю мою мать в этот первый период моего детства, она всегда представляется мне совсем молоденькой, очень красивой женщиной. Я вижу ее всегда веселой и нарядной. Чаще всего вспоминается она мне в бальном платье, с декольте, с голыми руками, со множеством браслетов и колец. Она собирается куда-нибудь в гости, на вечер, и зашла проститься с нами.

Лишь только она покажется, бывало, в дверях детской, Анюта тотчас подбежит к ней, начнет целовать ей руки и шею и рассматривать и перебирать все ее золотые безделушки.

— Вот и я буду такая красавица, как мама, когда вырасту! — говорила она, нацепляя на себя мамины

украшения и становясь на цыпочки, чтобы увидеть себя в маленьком зеркальце, висящем на стене. Это очень забавляет маму.

Иногда и я испытываю желание приласкаться к маме, взобраться к ней на колени; но эти попытки как-то всегда оканчиваются тем, что я, по неловкости, то сделаю маме больно, то разорву ей платье и потом убегу со стыдом и спрячусь в угол. Поэтому у меня стала развиваться какая-то дикость по отношению к маме, и дикость эта еще увеличивалась тем, что мне часто случалось слышать от няни, будто Анята и Федя — мамины любимчики, я же — нелюбимая.

Не знаю, была ли это правда или нет, но няня часто повторяла это, не стесняясь моим присутствием. Может быть, это ей только так казалось именно потому, что она сама любила меня гораздо больше других детей. Хотя она одинаково вырастила нас всех троих, но меня почему-то считала по преимуществу своей питомицей и потому обижалась за меня за всякую оказываемую мне, по ее мнению, обиду.

Анята, как значительно старшая, пользовалась, разумеется, большими преимуществами против нас. Она росла вольным казаком, не признавая над собой никакого начала. Ей был открыт свободный доступ в гостиную, и она с малолетства заслужила себе репутацию прелестного ребенка и привыкла занимать гостей своими остроумными, подчас очень дерзкими выходками и замечаниями. Мы же с братом показывались в парадных комнатах только в экстренных случаях; обыкновенно мы и завтракали, и обедали в детской.

Иногда, когда у нас бывали гости к обеду, в детскую вбежит ко времени десерта мамина горничная, Настасья.

— Нянюшка, оденьте поскорей Феденьке его голубую шелковую рубашечку и ведите его в столовую! Барыня хотят его гостям показать, — говорит она.

— А Сонечку во что приказано одеть? — спрашивает няня сердитым голосом, так как уже предвидит, какой будет ответ.

— Сонечку не надо. Она и в детской посидит! Она у нас домоседка! — с хохотом отвечает горничная, зная, как этот ответ рассердит нянюшку.

И действительно, няня усматривает в этом желании показать гостям одного Феденьку жестокую обиду мне и долго потом ходит сердитая, бормочет что-то под нос, глядит на меня соболезнующим взором и, проводя рукой по моей голове, приговаривает: «Бедная ты моя, ясонька!»

Вот вечер. Няня уже уложила меня и брата в кроватку, но сама еще не сняла с головы своей неизменной шелковой косынки, снятие которой обозначает у нее переход от бдения к покою. Она сидит на диване перед круглым столом и в обществе Настасьи распивает чай.

В детской полутемно. Из мрака выступает только желтым пятном грязноватое пламя сальной свечи, с которой няня подолгу забывает «снять», а в противоположном углу комнаты голубенький, трепещущий огонек лампадки вырисовывает на потолке причудливые узоры и ярко озаряет благословляющую руку спасителя, рельефно выступающую из посеребренной ризы.

Совсем почти рядом со мной я слышу ровное дыхание спящего брата, а из угла, за лежанкой, доносится тяжелое носовое посвистывание приставленной к нам для услуг девочки, курносой Феклуши, няниной

souffre-douleur¹. Она спит тут же в детской на полу, на куске серого войлока, который она расстилает по вечерам, а на день прячет в чуланчик.

Няня и Настасья разговаривают вполголоса и, воображая себе, что мы крепко спим, не стесняясь, перебирают все домашние события. А я между тем не сплю, а, напротив того, внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Многого я, разумеется, не понимаю; многое мне неинтересно; случается, я засну посередине какого-нибудь рассказа, не дослушав до конца. Но те отрывки их разговора, которые доходят до моего сознания, складываются в нем в фантастические образы и оставляют по себе неизгладимый след на всю жизнь.

— Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, больше других детей, — слышу я, говорит няня, и я понимаю, что речь идет обо мне. — Ведь я ее, почитай, одна совсем вынянчила. Другим до нее и дела не было. Когда Анюточка-то у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетушки наглядеться не могли, потому что она первенькая была. Я ее, бывало, и понянчить-то как следует не успею: поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет! Ну, а с Сонечкой другое было дело.

На этом месте рассказа, повторяемого очень часто, няня всегда таинственно понижает голос, что заставляет меня, разумеется, еще больше наострить уши.

— Не вовремя она родилась, моя голубушка, вот что! — говорит няня полусшепотом. — Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигралась, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да

¹ Козел отпущения (*фр.*).

к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: «Вот увидишь, няня, будет мальчик!» Они все и приготовили как следует мальчику: и крестик с распятием, и чепчик с голубенькой ленточкой, — ан нет, вот поди! — родилась опять девочка! Барыня так огорчилась, что и глядеть на нее не хотели, только уж Феденька их потом утешил.

Этот рассказ повторялся няней очень часто, и я всякий раз слушала его с тем же любопытством, так что он прочно врезался в моей памяти.

Благодаря подобным рассказам во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность.

Приведут меня, бывало, в гостиную — я стою, насупившись, ухватившись обеими руками за нянино платье. От меня нельзя добиться слова. Как ни уговаривает меня няня, я молчу упорно и только поглядываю на всех исподлобья, пугливо и злобно, как травленный зверек, пока мама не скажет, наконец, с досадой: «Ну, няня, уведите вы вашу дикарку назад в детскую! С ней только стыд один перед гостями. Она, верно, свой язычок проглотила!»

Посторонних детей я тоже дичилась, да и видела я их редко. Я помню, впрочем, что когда мы на прогулке с няней встречали иногда уличных девочек или мальчиков, играющих в какую-нибудь шумную игру, я часто испытывала зависть и желание присоединиться к ним. Но няня никогда не пускала меня. «Что ты, маточка! Как можно тебе, барышне, играть с простыми детьми!» — говорила она таким укоризненным и убежденным голосом, что мне — я как теперь помню — тотчас же самой становилось стыдно моего желания.

Вскоре у меня прошла даже и охота, и умение играть с другими детьми. Я помню, что когда ко мне придут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: «да скоро ли она уйдет?»

Всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней. По вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анята убежит в гостиную, к большим, я садилась рядом с няней на диване, прижималась к ней совсем близко, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении, я сужу по тому, что хотя теперь, наяву, я и помню из них только отрывки, но во сне мне и до сих пор нет-нет да вдруг и приснится то «черная смерть», то «волк-оборотень», то 12-головый змей, и сон этот всегда вызовет во мне такой же безотчетный, дух захватывающий ужас, какой я испытывала в пять лет, внимая няниным сказкам.

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски — *angoisse*¹. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полосу тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного у меня вдруг так мучительно занает сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать

¹ Томление, тоска, чувство страха (*фр.*).

меня. Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем неверно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты. Я помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например, если я во время прогулки вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом, с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например, до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродствам. Если при мне расскажут о каком-нибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное, увижу этого уroda во сне и разбужу няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить мою куклу, няня должна была подымать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анята, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне на глаза восковую куклу,

у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий.

Вообще я была на пути к тому, чтобы превратиться в нервного, болезненного ребенка, но скоро, однако, все мое окружающее переменялось и всему предыдущему настал конец.

II. <ВОРОВКА>

Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Палибино в Витебской губернии. В это время уже упорно ходили слухи о предстоящей «эманципации», и они-то и побудили моего отца серьезнее заняться хозяйством, которым до тех пор заведовал управляющий.

Вскоре после нашего переезда в деревню произошел в нашем доме один случай, оставшийся у меня очень живо в памяти. Впрочем, и на всех в доме этот случай произвел такое сильное впечатление, что впоследствии о нем вспоминали очень часто, так что мои собственные впечатления так перепутались с позднейшими рассказами, что я не могу отличить одни от других. Поэтому я расскажу этот случай так, как он теперь представляется мне.

Из детской нашей вдруг стали пропадать разные вещи; глядишь, то то вдруг исчезнет, то другое. Стоит няне забыть про какую-нибудь вещь в течение некоторого времени, когда она опять ее хватится, ее уже нигде не оказывается, хотя няня готова побожиться, что сама, собственноручно, прибрала ее в шкаф или комод. Сначала эти пропажи принимались довольно хладнокровно, но когда они стали повторяться все чаще и чаще и распространяться на предметы все более

и более ценные, когда вдруг пропали одни за другими: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик, — в доме поднялась тревога. Сделалось очевидным, что у нас завелся домашний вор. Няня, считавшая себя ответственной за целостность детских вещей, переполошилась больше всех других и порешила во что бы то ни стало накрыть вора.

Подозрения естественным образом должны были прежде всего пасть на бедную Феклушу, приставленную к нам для услуг девочку. Правда, что Феклуша уже года три как была приставлена к детской, и за все это время няня ни в чем подобном ее не замечала. Однако, по мнению няни, это еще ровно ничего не доказывало. «Прежде она мала была, не понимала цены вещей, — рассуждала няня, — теперь же выросла и умнее стала. К тому же у нее тут на деревне семья живет — вот она ей и таскает барское добро».

На основании подобных соображений няня прониклась таким внутренним убеждением в Феклушиной виновности, что стала относиться к ней все суровее и немилостивее, а у несчастной запуганной Феклуши, инстинктом чувствующей, что ее подозревают, стал являться все более и более виноватый вид.

Но как ни подсматривала няня за Феклушей, однако долго ее ни в чем уличить не могла. А между тем пропащие вещи не находились, а новые все попадали. В один прекрасный день исчезла вдруг Анютина копилка, постоянно стоявшая в нянином шкафу и заключающая в себе рублей сорок, если не больше. Сведения об этой последней пропаже дошло даже до моего отца; он потребовал нянюшку к себе и строго приказал, чтобы вор был найден непременно. Тут уж все поняли, что дело не до шуток.

Няня была в отчаянии; но вот раз ночью просыпается она и слышит: из угла, где спит Феклуша, доносится какое-то странное чавканье. Уже настроенная на подозренье, няня осторожно, без шума, протянула руку к спичкам и вдруг зажгла свечу. Что же она увидела?

Сидит Феклуша на корточках, между колен держит большую банку с вареньем и уписывает его за обе щеки, еще подлизывая банку корочкой хлеба.

А надо сказать, что за несколько дней перед тем экономка жаловалась, что у нее из кладовой стало пропадать варенье.

Вскочить с постели и схватить преступницу за косу было, разумеется, для няни делом одной секунды.

— А! попалась, негодница! Говори, откуда у тебя варенье? — закричала она громовым голосом, немилосердно потрясая девочку за волосы.

— Няня, голубушка! Я не виновата, право! — взмолилась Феклуша. — Портниха, Марья Васильевна, вчера вечером мне эту банку подарили; наказали только, чтобы я вам не показывала.

Оправдание это показалось няне из рук вон неправдоподобным.

— Ну, матушка, и врать-то ты, как видно, не мастерица, — сказала она презрительно:— ну, статочное ли дело, чтоб Марья Васильевна тебя вареньем угощать вздумала?

— Няня, голубушка, не вру я! Ей-ей, это правда! Хоть сами у нее спросите. Я им вчера утюги нагревала, они мне за это варенья и пожаловали. Приказали только: «не показывай нянюшке, а то она забранится, что я тебя балую», — продолжала утверждать Феклуша.

— Ну, ладно, завтра поутру разберем! — решила нянюшка и, в ожидании утра, заперла Феклушу в темный

чуланчик, откуда еще долго доносились ее всхлипы-ванья.

На следующее утро приступлено было к следствию.

Марья Васильевна была портниха, уже много лет жившая в нашем доме. Она была не крепостная, а вольная, и пользовалась большим почетом против остальной прислуги. У нее была своя собственная комната, в которой она и обедала с господского стола. Она вообще держала себя очень гордо и ни с кем из остальной прислуги не сближалась... Ее очень ценили у нас в доме за то, что она была так искусна в своем мастерстве. «Просто золотые руки», — говорили о ней. Ей было, я думаю, лет уже под сорок; лицо у нее было худое, болезненное, с большущими черными глазами. Она была некрасива, но, я помню, старшие всегда замечали, что у нее вид очень *distingué*¹, «совсем и не подумаешь, что она простая швейка!» Одевалась она всегда чисто и аккуратно, и комнату свою тоже держала в большом порядке, даже с некоторой претензией на элегантность. На окне у нее всегда стояло несколько горшков гераниума, стены были увешаны дешевенькими картинками, а на полке, в углу, были расставлены разные фарфоровые вещицы — лебедь с позолоченным клювом, туфля вся в розовых цветочках, которыми я в детстве очень восхищалась.

Для нас, детей, Марья Васильевна представляла особый интерес вследствие того, что о ней шел следующий рассказ: в молодости она была красивой и здоровенной девушкой и состояла в крепостных у какой-то помещицы, у которой был взрослый сын-офицер. Этот последний приехал раз в отпуск и подарил Марье Васильевне несколько серебряных монет. На беду

¹ Благовоспитанный (*фр.*).

в эту самую минуту в девичью вошла старая барыня и увидела в руках у Марьи Васильевны деньги. «Откуда они у тебя?» — спрашивает; а Марья Васильевна так испугалась, что, вместо ответа, взяла и проглотила эти деньги.

С ней тотчас сделалось дурно; она вся почернела и упала, задыхаясь, на пол. Ее едва удалось спасти, но она долго проболела, и с тех пор навсегда пропала ее красота и свежесть. Старая помещица скоро после этой истории умерла, а от молодого барина Марья Васильевна получила вольную.

Нас, детей, этот рассказ о проглоченных деньгах страшно интересовал, и мы часто приставали к Марье Васильевне, чтобы она рассказала нам, как все это было.

К нам, в детскую, Марья Васильевна заходила довольно часто, хотя и не жила с няней в больших ладах; мы, дети, тоже любили забегать в ее комнату, особенно ко времени сумерек, когда ей волей-неволей приходилось откладывать в сторону свою работу. Тогда она садилась к окну и, подперши голову рукой, заунывным голосом начинала петь разные старинные трогательные романсы: «Среди долины ровные» или «Черный цвет, мрачный цвет». Она пела ужасно заунывно, но я в детстве очень любила ее пенье, хотя мне всегда становилось от него грустно. Случалось иногда, ее пенье прерывалось припадком страшного кашля, который мучил ее уже в течение многих лет и от которого, казалось, должна бы надорваться ее плоская, сухая грудь.

Когда на следующее утро после описанного происшествия с Феклушей няня обратилась к Марье Васильевне с вопросом: «правда ли, что она дала девочке варенья?» — Марья Васильевна, как и следовало ожидать, сделала удивленное лицо.

— Что вы, нянюшка, выдумали? Стану я девчонку так баловать! У меня и у самой-то варенья нет! — сказала она обиженным голосом.

Теперь дело было ясно; однако Феклушина наглость была так велика, что, несмотря на это категорическое заявление, она продолжала настаивать на своем.

— Марья Васильевна! Христос с вами! Неужто вы забыли? Да вчерась же вечером сами вы меня позвали, похвалили за утюги и дали мне варенья, — говорила она отчаянным, прерывающимся от слез голосом, вся трясясь как в лихорадке.

— Должно быть, ты больна и бредишь, Феклуша, — ответила Марья Васильевна спокойно, не обнаруживая ни малейшего волнения на своем бледном, бескровном лице.

Теперь уже и для няни, и для всех домашних не оставалось сомнения в виновности Феклуши. Преступницу отвели и заперли в чулан, удаленный от всех других помещений.

— Посидишь тут, негодница, не евши и не пивши, пока не сознаешься! — сказала няня, поворачивая ключ в тяжелом замке.

Происшествие это, само собой разумеется, наделало шуму во всем доме. Каждый из прислуги выдумывал какой-нибудь предлог, чтоб прибежать к няне и потолковать с ней об этом интересном деле. В детской нашей весь день был настоящий клуб.

Отца у Феклуши не было, а мать ее жила на деревне, но приходила к нам в дом помогать стирать белье. Она, разумеется, скоро узнала о случившемся и прибежала в детскую, рассыпаясь в громких жалобах и уверениях, что дочка ее невинна. Однако няня скоро ее усмирила.

— Не очень-то ты шуми, матушка! Вот погоди, ужо доберемся, куда дочка-то твоя краденые вещи таскала! — сказала она ей так строго и с таким многозначительным взглядом, что бедная женщина оробела и убралась восвояси.

Общественное мнение высказывалось решительно против Феклуши. «Если она стащила варенье, значит, она и другие вещи воровала», — говорили все. Общее негодование против Феклуши потому и было так сильно, что эти таинственные и повторяющиеся пропажи уже в течение многих недель тяжелым бременем тяготели над всей прислугой: каждый боялся в душе, как бы, неравно, не заподозрили его самого; поэтому открытие вора было облегчением для всех.

Однако Феклуша все не сознавалась.

В течение дня няня несколько раз вошла проведать свою узницу, но она упорно твердила свое: «Я ничего не воровала. Бог накажет Марью Васильевну за то, что она обижает сироту».

Под вечер мама зашла в детскую.

— Уж не слишком ли вы, няня, строги к этой несчастной девчонке? Как же оставлять ребенка целый день без пищи! — сказала она озабоченным голосом.

Но няня и слышать не хотела о милости.

— Что вы, сударыня? Таковую да жалеть! Ведь она, мерзавка, чуть было честных людей под подозрение не подвела! — говорила она так убежденно, что мама не решилась настаивать и ушла, не выхлопотав никакого облегчения в участи маленькой преступницы.

Наступил следующий день. Феклуша все не сознавалась. Ее судьями стало уже овладевать некоторое беспокорство, но вдруг, ко времени обеда, няня пришла к нашей матери с торжествующим видом.

— Призналась наша птичка! — сказала она радостно.

— Ну, а где же краденые вещи? — спросила мама очень естественно.

— Еще не признается, куда их дела, негодница! — ответила няня озабоченным голосом. — Мелет всякую чепуху. Говорит — «запамятовала». Но вот, погодите, посидит у меня взаперти еще часок-другой — может, и вспомнит!

Действительно, к вечеру Феклуша сделала полное признание и рассказала очень обстоятельно, что крала все эти вещи с целью их потом, когда-нибудь, продать; но так как удобного случая все не представлялось, то она долго прятала их под войлоком в углу своего чуланчика; когда же она увидела, что вещей хватились и стали не на шутку разыскивать вора, она струсила и сначала подумала положить вещи назад на место, но потом побоялась это сделать, а наместо того завязала все эти вещи узлом в свой передник и забросила их в глубокий пруд, за нашей усадьбой.

Все так жаждали какого-нибудь разрешения в этом тяжелом и мучительном деле, что не стали подвергать Феклушин рассказ слишком строгой критике. Потужив немножко о даром пропавших вещах, все этим объяснением удовлетворились.

Виновницу выпустили из заточения и произвели над нею краткий и справедливый суд: решили выпороть ее хорошенько и потом отослать назад в деревню, к ее матери.

Несмотря на Феклушины слезы и на протесты ее матери, приговор этот был тотчас же приведен в исполнение; затем на место Феклуши взяли к нам в детскую другую девочку для услуг. Прошло несколько недель.

Порядок в доме мало-помалу восстановился, и о прошедшем стали все забывать.

Но вот раз вечером, когда в доме уже все затихло, и няня, уложив нас спать, сама собиралась на покой, дверь детской тихонько растворилась, и в ней показалась прачка Александра — Феклушина мать. Она одна упорно восставала против очевидности и все не унималась, продолжала утверждать, что «дочку ее задаром обидели». Несколько раз уже были у них по этому поводу жестокие стычки с няней, пока няня наконец не махнула рукой и не запретила ей входа в детскую, решив, что все равно глупую бабу не урезонишь.

Но сегодня у Александры был вид такой странный и многозначительный, что няня, взглянув на нее, тотчас поняла, что она пришла не повторять свои обычные пустые жалобы, а что произошло нечто новое и важное.

— Посмотрите-ка, нянюшка, какую я вам покажу штучку, — сказала Александра таинственно, и оглядевшись осмотрительно кругом комнаты и убедившись, что никого постороннего нет, она вытащила из-под своего передника и подала няне перламутровый перочинный ножичек, наш любимый, тот самый, который находился в числе украденных и якобы заброшенных Феклушею в пруд вещей.

Увидев этот ножик, няня развела руками.

— Где же вы его нашли? — спросила она с любопытством.

— В том-то всё и дело — где нашла, — отвечала Александра протяжно. Она несколько секунд молчала, очевидно, наслаждаясь смущением нянюшки. — Садовник наш, Филипп Матвеевич, дали мне свои старые

брюки заштопать; в кармане их и нашелся ножичек, — произнесла она наконец многозначительно.

Этот Филипп Матвеевич был немец и занимал одно из первых мест в рядах аристократии нашей дворни. Он получал довольно большое жалованье, был холост, и хотя на беспристрастный взгляд показался бы просто жирным, уже немолодым, довольно противным немцем с рыжими типическими четырехугольными баками, но между нашей женской прислугой он считался красавцем.

Услышав это странное показание, няня в первую минуту и сообразить ничего не могла.

— Откуда же у Филиппа Матвеевича мог взяться детский ножичек? — спрашивала она растерянно. — Ведь он и в детскую, почитай, что никогда не входит! Да и статочное ли дело, чтобы такой человек, как Филипп Матвеевич, стал детские вещи воровать?

Александра глядела на нянюшку несколько минут молча, долгим, насмешливым взглядом; потом она нагнулась к самому ее уху и проговорила несколько фраз, в которых часто повторялось имя Марьи Васильевны.

Луч истины начал мало-помалу прокладывать себе путь в уме нянюшки.

— Те, те, те... Так вот оно как! — проговорила она, разводя руками. — Ах ты, смиренница! Ах, негодница!.. Ну, погоди, выведем же мы тебя на чистую воду! — воскликнула она затем, вся преисполнившись негодования.

Оказалось, как мне рассказывали впоследствии, что Александра уже давно возымела подозрения против Марьи Васильевны. Она заметила, что эта последняя затеяла шашни с садовником. — Ну, а сами посудите, — говорила она няне, — стал ли бы такой молодец,

как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить? Верно она его подарками задабривает. — И действительно, она скоро убедилась, что Марья Васильевна дарит ему и вещи, и деньги. Откуда же они у нее берутся? И вот устроила она целую систему подсматриванья за ничем не подозревавшей Марьей Васильевной. Этот ножичек оказался лишь последним звеном в длинной цепи улик.

История выходила такая интересная и занимательная, как и ожидать нельзя было. У няни внезапно проснулся тот страстный инстинкт сыщика, который так часто дремлет в душе у старых женщин и побуждает их с азартом кидаться на расследование всякого запутанного дела, хотя бы это последнее вовсе и не касалось их. В данном же случае няню побуждало в ее рвении еще и то, что она чувствовала за собой большой грех против Феклуши и горела желанием поскорее его искупить. Поэтому между ней и Александрой тотчас же был заключен оборонительный и наступательный союз против Марьи Васильевны.

Так как у обеих женщин была уже полная нравственная уверенность в виновности этой последней, то они решились на крайнюю меру: подобраться к ее ключам и, улучив минутку, когда она уйдет со двора, вскрыть ее сундук.

Задумано и сделано! Увы! Оказалось, что они были совершенно правы в своих предположениях. Содержимое сундука вполне подтвердило их подозрения и доказало несомненным образом, что несчастная Марья Васильевна была виновница всех маленьких краж, наделавших столько шума за последнее время.

— Какова мерзкая! Значит, она и варенье-то бедной Феклуше подсунула, чтоб глаза отвести и на нее все

подозрения свалить! У, безбожница! Ребенка малого, и того не пожалела! — говорила няня с ужасом и омерзением, совсем забывая, какую роль она сама играла во всей этой истории и как она своей жестокостью довела бедную Феклушу до ложного показания на самое себя.

Можно себе представить негодование всей прислуги и вообще всех домашних, когда ужасная истина была обнаружена и стала всем известна.

В первую минуту, сгоряча, отец наш пригрозил было послать за полицией и засадить Марью Васильевну в тюрьму; однако, ввиду того, что она была уже пожилая болезненная женщина и так долго прожила в нашем доме, он скоро смягчился и порешил только отказать ей от места и отослать ее обратно в Петербург.

Казалось бы, Марья Васильевна сама должна бы быть довольной этим приговором. Она была такой искусной портнихой, что ей нечего было бояться остаться без хлеба в Петербурге. А какое предстояло ей положение в нашем доме после подобной истории? Вся остальная прислуга завидовала ей прежде и ненавидела ее за гордость и высокомерие. Она это знала и знала тоже, как жестоко пришлось бы ей теперь искупить свое прежнее величие. И между тем, как ни странно это может показаться, она не только не обрадовалась решению моего отца, но, напротив того, стала умолять о помиловании. В ней сказалась какая-то кошачья привязанность к нашему дому, к насиженному у нас углу.

— Мне недолго осталось жить, я чувствую, что скоро умру. Каково мне перед смертью таскаться по чужим людям! — говорила она.

— Дело было совсем не в этом, — пояснила мне, впрочем, няня, вспоминая со мной всю эту историю много лет спустя, когда я уже была взрослой. — Ей про-

сто неумоготу было от нас уезжать, так как Филипп-то Матвеевич оставался, и она знала, что если она раз уедет, то никогда уже его больше не увидит. Видно, уж больно он люб был ей, если ради него она, всю жизнь прожившая честно, на старости лет на такое дело пошла.

Что касается Филиппа Матвеевича, то ему удалось совсем сухим из воды выйти. Может быть, он и действительно говорил правду, когда утверждал, что, принимая подарки Марьи Васильевны, не знал их происхождения. Во всяком случае, так как хорошего садовника найти было трудно, а сад и огород нельзя было оставить на произвол судьбы, то решено было удержать его у нас, по крайней мере до поры до времени.

Не знаю, была ли няня права насчет причин, заставлявших Марью Васильевну так упорно цепляться за свое место в нашем доме, но как бы то ни было, в день, назначенный для ее отъезда, она пришла и повалилась моему отцу в ноги.

— Лучше оставьте меня без жалованья, накажите как крепостную, только не выгоняйте! — умоляла она, рыдая.

Отца тронула такая привязанность к нашему дому, но, с другой стороны, он боялся, что если он простит Марью Васильевну, то это подействует деморализующим образом на остальную прислугу. Он был в большом затруднении, как ему поступить, но вдруг ему пришла в голову следующая комбинация.

— Послушайте, — сказал он ей, — хоть воровство и большой грех, я все-таки мог бы простить вас, если бы ваша вина состояла только в том, что вы воровали. Но ведь из-за вас пострадала невинно девочка. Подумайте, что по вашей вине Феклушу подвергли такому

позору — публично высекли. За нее я вас простить не могу. Если вы непременно хотите у нас оставаться, то я могу на это согласиться только под тем условием, что вы попросите у Феклуши прощение и в присутствии всей прислуги поцелуете у нее руку. Хотите вы на это пойти, тогда с богом, оставайтесь!

Все ожидали, что Марья Васильевна на такое условие никогда не пойдет. Ну, как ей, такой гордячке, повиниться публично перед крепостной девчонкой и поцеловать у нее руку! И вдруг, к общему удивлению, Марья Васильевна согласилась.

Через час после этого решения уже вся дворня собралась в сенях нашего дома, чтобы посмотреть на любопытное зрелище: как Марья Васильевна будет целовать руку у Феклуши. Отец мой именно требовал, чтобы это произошло торжественно и публично. Народу собралось много; каждому хотелось посмотреть. Господа присутствовали тоже, да и мы, дети, выпросили позволение быть при этом.

Никогда не забуду я той сцены, которая теперь воспоследовала. Феклуша, сконфуженная той честью, которая так неожиданно выпала ей на долю, да и опасаясь, быть может, чтобы Марья Васильевна не стала потом мстить ей за свое вынужденное унижение, пришла к барину и стала просить, чтобы он избавил ее и Марью Васильевну от целования руки.

— Я ей и так прощаю, — говорила она, чуть не плача.

Но папа, настроив себя на возвышенный диапазон и убедивший сам себя, что поступает согласно требованиям строгой справедливости, только прикрикнул на нее: «Ступай, дура, и не суйся не в свое дело! Не ради тебя это делается. Если бы я перед тобой провинился, понимаешь ли, я сам, твой барин, то и я должен бы

поцеловать тебе руку. Ты этого не понимаешь? Ну, так и молчи и не разговаривай!»

Перепуганная Феклуша не смела больше возражать и, вся трясаясь от страха, пошла и стала на свое место, ожидая своей участи, как виновная.

Марья Васильевна, бледная как полотно, прошла сквозь расступившуюся перед ней толпу. Она шла как-то машинально, точно во сне, но лицо ее было такое решительное и злое, что страшно становилось на него смотреть. Губы ее были судорожно сжаты и бескровны. Она подошла совсем близко к Феклуше. «Прости меня!» — вырвалось из ее уст каким-то болезненным криком; она схватила Феклушину руку и поднесла ее к губам так порывисто и с выражением такой ненависти, точно собиралась укусить ее. Но вдруг судорога передернула все ее лицо, пена показалась вокруг рта. Она упала на землю, корчась всем телом и испуская пронзительные, неестественные крики.

Открылось впоследствии, что она и прежде была подвержена нервным припадкам, род падучей, но она тщательно скрывала их от господ, боясь, что ее не станут держать, если о них узнают. Те же из прислуги, которые проведали о ее болезни, не выдавали ее из чувства солидарности.

Я и передать не могу того впечатления, которое было вызвано ее теперешним припадком. Нас, детей, разумеется, поспешно увели, и мы были так перепуганы, что сами были близки к истерике.

Но всего живее осталась у меня в памяти та внезапная перемена, которая произошла после этого в настроении нашей дворни. До тех пор все относились к Марье Васильевне со злобой и ненавистью. Ее поступок казался таким низким и черным, что каждому

доставляло некоторого рода наслаждение выказать ей свое презрение, чем-нибудь досадить ей. Теперь же все это внезапно изменилось. Она сама вдруг представилась в роли пострадавшей, жертвы, и общественное сочувствие перешло на ее сторону. Между прислугой поднялся даже затаенный протест против моего отца за излишнюю строгость его приговора.

— Конечно, она была виновата, — говорили вполголоса другие горничные, собираясь у нас в детской для совещаний с няней, как бывало обыкновенно после всякого важного происшествия в нашем доме. — Ну, хорошо, пожурил бы ее сам генерал, барыня бы ее собственноручно наказали, как в других домах водится, все это не так обидно, стерпеть можно. А тут вдруг на, поди, что выдумали! У такого сверчка, у соплявки Феклушки, на виду перед всеми руку целовать! Кто такую обиду выдержит!

Марья Васильевна долго не приходила в себя. Ее припадки повторялись в течение нескольких часов одни за другими. Очнется, придет в себя, потом вдруг опять забьется и начнет выкрикивать. Пришлось поехать в город за доктором.

С каждой минутой увеличивалось сострадание к больной и росло недовольство против господ. Я помню, как посреди дня в детскую вошла мама и, видя, что няня, совсем не в положенное время, заботливо и суетливо заваривает чай, спросила очень невинно: — Для кого вы это, няня?

— Для Марьи Васильевны, разумеется. Что ж, по-вашему, ее, больную, и без чая оставить следует? У нас, у прислуги, душа-то христианская! — ответила няня таким грубым и задорным голосом, что мама совсем сконфузилась и поспешила уйти.

И та же няня, за несколько часов перед тем, если бы ей дали волю, была бы способна избить Марью Васильевну до полусмерти.

Через несколько дней Марья Васильевна поправилась, к великой радости моих родителей, и зажила у нас в доме по-прежнему. О том, что произошло, не поминалось больше; я думаю, что даже между дворней не нашлось бы никого, кто бы попрекнул ее прошлым.

Что до меня касается, то я с этого дня стала испытывать к ней какую-то странную жалость, смешанную с инстинктивным ужасом. Я уже не бегала к ней в комнату, как прежде. Встречаясь с нею в коридоре, я невольно прижималась к стене и старалась не глядеть на нее: мне все чудилось — вот-вот она сейчас упадет на пол и станет биться и кричать.

Марья Васильевна, должно быть, замечала это мое отчуждение и старалась разными путями вернуть себе мое прежнее расположение. Я помню, как она чуть ли не ежедневно выдумывала для меня какие-нибудь маленькие сюрпризы: то принесет мне цветных лоскутков, то сошьет новое платье моей кукле. Но все это не помогало: чувство какого-то тайного страха к ней не проходило у меня, и я убегала, лишь только мы оставались с ней наедине.

Вскоре, впрочем, я поступила под начальство моей новой гувернантки, которая положила конец всякой моей короткости с прислугой.

Мне живо помнится, однако, следующая сцена: мне было уже тогда лет семь или восемь; однажды вечером, накануне какого-то праздника, кажется Благовещения, я пробежала по коридору мимо комнаты Марьи Васильевны. Вдруг она выглянула из двери и окликнула меня:

— Барышня, а барышня! Зайдите-ка ко мне, посмотрите, какого я для вас жаворонка из теста испекла!

В длинном коридоре было полутемно, и кроме меня и Марьи Васильевны никого не было. Взглянув на ее бледное лицо с большущими черными глазами, мне вдруг стало так жутко, что, вместо ответа, я опрометью пустилась бежать от нее.

— Что, барышня, видно совсем меня разлюбили, безгугете мной! — проговорила она мне вслед.

Не столько самые слова, сколько тон, которым она проговорила их, сильно поразил меня; однако я не остановилась, а продолжала бежать. Но, вернувшись в классную и успокоившись от моего страха, я все не могла забыть ее голоса, глухого и печального. Весь вечер мне было не по себе. Как я ни старалась резвостью и усиленной шаловливостью заглушить то неприятное ноющее чувство, которое шевелилось у меня на сердце, но оно все не унималось. Марья Васильевна не выходила у меня из головы и, как всегда бывает относительно человека, которого обидишь, она вдруг стала казаться мне ужасно милою, и меня стало тянуть к ней.

Рассказать гувернантке о том, что случилось, я не решалась; дети всегда конфузятся говорить о своих чувствах. К тому же, так как нам запрещено было сближаться с прислугой, то я знала, что гувернантка, пожалуй, еще похвалит меня; я же инстинктом чувствовала, что хвалить меня не за что. После вечернего чая, когда пришла мне пора идти спать, вместо того чтобы отправиться прямо в спальню, я решила забежать к Марье Васильевне. Это была некоторого рода жертва с моей стороны, так как для этого мне приходилось пробежать одной по длинному пустынному, теперь уже совсем темному коридору, которого я всегда боялась

и обходила по вечерам. Но теперь у меня явилась отчаянная храбрость. Я бежала, не переводя духа, и, совсем запыхавшись, как ураган, ворвалась в ее комнату.

Марья Васильевна уже отужинала; по случаю праздника она не работала, а сидела за столом, покрытым белой скатертью, и читала какую-то книжку божественного содержания. Перед образами теплилась лампадка; после темного страшного коридора комнатка ее показалась мне необыкновенно светлой и уютной, а она сама такой доброй и хорошей.

— Я с вами проститься пришла, милая, милая Марья Васильевна! — проговорила я одним залпом, и, прежде чем я успела кончить, она уже подхватила меня и стала покрывать меня поцелуями. Она целовала меня так порывисто и так долго, что мне снова стало жутко, и я начала уже подумывать, как бы мне вырваться от нее, опять ее не обидев, когда припадок жестокого кашля заставил ее наконец выпустить меня из своих объятий.

Этот ужасный кашель преследовал ее все сильнее и сильнее. «Всю ночь я сегодня, как собака, пролаяла», — говорила она, бывало, сама о себе с какою-то угрюмой иронией.

С каждым днем становилась она все бледнее и сосредоточеннее, но упорно отклоняла предложения моей матери обратиться за советом к доктору; у нее являлось даже какое-то злобное раздражение, если кто-нибудь заговаривал о ее болезни.

Таким образом протянула она года два или три, почти до самого конца оставаясь на ногах; она слегла лишь дня за два, за три перед смертью, и агония ее, говорят, была очень мучительна.

По распоряжению моего отца ей устроили очень пышные (по деревенским понятиям) похороны. Не